

Иона

Введение к «Книге

великого гнева»

Обходя бесподобную лондонскую галерею Тейт и осматривая произведения талантливейшего английского символиста нашего века Уоттса, невольно останавливаешься с каким-то изумлением, почти испугом, перед одной небольшой его картиной. Иудейский пророк Иона в диком исступлении предсказывает гибель Ниневии. Такого гнева, такой ярости, такого судорожная жеста, такой экспрессии пророческого бреда я, кажется, никогда не встречал ни в одной картине. Это напряжение, при котором невольно обезображивается весь внешний облик человека, тело его как будто готово разорваться, как слишком натянутая струна, и все кричит о смятении и протестах духа. Исхудалое лицо с острыми, почти обезьяньими чертами, с полузакрытыми глазами, большим, открытым ртом, откинута назад. На нем словно агония. Вдохновенно поднятые руки, с напряженными ладонями и судорожно растопыренными пальцами, выражают безумное желание вырвать с корнем порочно презренное существование людей. Он хочет смерти ниневийцам, потому что в нем всего сильнее

кричит ненависть к существующему, ненависть беспросветная и ни при каких условиях не переходящая в смирение и прощение. Он словно бросает на развратный город пылающую смолу и сладострастно упивается зрелищем истребительного пожара. При страшной худобе тело его дышит мощью. Из-под перехваченной широким поясом хламиды выступает обнаженная правая нога. Он остановился у стены города, покрытой барельефами, в которых символически обрисовывается жизнь ниневийцев. Картина полна проклятий, непримиримых и жестоких.

Это тот Иона, который так кратко и так художественно изображен в библейском предании. Он бежал от лица Бога, повелевшего ему идти в Ниневию посланцем его гнева. Три дня и три ночи он изнывал в пучинах невыносимого страдания. Но и оттуда он воссылал к небу восторг своей веры. Через три дня он обретает свои духовные силы и становится на путь своего пророческого служения. Он отдается гневу своей страстной натуры и в течение целого дня мечет в народ проклятьями. Но здесь его ждет великое разочарование. Не постигая божества во всей сложности его небесной диалектики и тайных капризах его действительной мудрости, он проникается против него раздражением и негодованием, когда покаявшиеся ниневийцы оказываются помилованными. «Возьми душу мою от меня,

ибо лучше мне умереть, нежели жить», — говорит он Богу. Это вопль трагической души, которая не чувствует в истории никакой динамики, живет как бы в одном неподвижном моменте, знает только ужас существующего и не видит в перспективе никаких возможных трансформаций, никакого другого выхода, кроме безжалостного разрушения и истребления. Надо подрубить под самые корни этот людской лес и выкорчевать его. Но мудрость мира идет своим путем и, какой бы она ни казалась безжалостною, она дает свои пощады и открывает жизни ходы к новым просветлениям и одухотворениям.

Григорий Богослов отмечает в Ионе еще одну характерную черту. «Поелику Иона провидел падение Израиля и предчувствовал, что пророчественная благодать переходит к язычникам, — говорит он, — он уклоняется от проповеди, медлит в исполнении повеления и, оставив сторожевую башню радости, древнюю высоту и достоинство, ввергает сам себя в море скорби». Как патриот своего народа, в фанатическом смысле этого слова, он как бы ревнует его славу, его богоизбранность к другим, языческим народам и как бы не хочет дать им того, что носил в сердце для своего возлюбленного Израиля. Вот почему, смирившись, в конце концов, перед возложенной на него задачей, он вспыхивает таким яростным гневом у стен Ниневии, а затем, узнав, что ниневийцы, внявшие его

слову, помилованы, бросает укор самому небу. Он до последней минуты не видит, что его проповедь язычникам не только не умаляет его народа, но делает его истинно богоносным народом, расширяет его значение для людей, а тем самым усиливает его связь с небом. Иона не видит, из-за своего великого гнева и патриотического ослепления, что он становится живым звеном в великой эволюции общечеловеческого богопонимания.

Смотря на картину Уоттса, невольно вспоминаешь автора «Весов», с его великим гневом и великим ослеплением по отношению к Европе, к неправославным народам. Он тоже мечет пылающую смолу во все, что находится за чертой его византийского кругозора, тоже верит в исключительную богоносность своего народа. Какая-то идейная и патриотическая судорога проходит по всем его произведениям, и кажется иногда, что он весь в этой судороге, в этом беспощадном осуждении существующего мира, в этом пламенном национализме. Временами он, как Иона, доходит до бунта против Бога, как, например, в колоссальной поэтической фигуре Ивана Карамазова.

Но Достоевский, конечно, все-таки не Иона. Он человек нового мира, с иной нравственной атмосферой. В его искусстве постоянно сверкает золотисто-теплый звездный свет с мистического неба, веет благими всечеловеческими правдами, теми

идеями, которые извращались и разбивались им самим в минуты его судорожного гнева. Он, как Иона, хотел отнять пророчесственную благодать у других народов, а между тем своим мощным искусством послужил человеку вообще, т.е. всем народам, без различия национальных подразделений. Он послужил «вселенскому Богу»— божеству, которое, как солнце, пригревает и малых, и великих, и правых, и виноватых, выращая побеги новой жизни.

1903. Ноябрь.